

Дмитрий РАСКИН

Дмитрий Раскин родился в 1965 году. Учился в Горьковском пединституте, кандидат культурологии. Автор нескольких книг стихов и прозы. Публиковался в журналах «Артикуляция», «Крещатик», «Новый континент», «Артикль», в альманахе «45-я параллель» и др. В «Волге» печатались рассказы (2019, 2020, 2021). Живет в Нижнем Новгороде.

МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ

Рассказ

Негосударственный международный такой-то университет время от времени направлял в филиалы лучших своих профессоров на неделю, дабы приобщить провинциальные подразделения к высокой науке, поднять их образовательный процесс, вот так, на неделю, до международного уровня. Филиалы как могли отбрыкивались. И не потому, что были равнодушны к высокой науке или же сознавали полную свою невозможность соответствовать международному уровню даже одну неделю. Просто очень уж дорогой была эта неделя. Университет выставлял совершенно немилосердную смету, из которой явствовало, что час профессора будет стоить дороже, чем в каком-нибудь Гарварде или же Йеле. А командировочные! А гостиница! И еще какие-то совершенно зашифрованные «накладные расходы». Главбух университета не сознавалась, «шифр» не выдала бы и под пытками, а «расходы» удваивали смету. Выкачивать деньги из филиалов сейчас, когда государство решило окончательно прихлопнуть негосударственное образование и филиалы работают уже без права нового набора, и ясно, что скоро потеряют лицензию, а головной вуз лишится аккредитации! Но директора филиалов подчинялись насилию. Лучше все-таки доработать до конца и чтобы ректор не «ушел» тебя раньше, чем это сделает государство, правда? Не в восторге были и профессора. Потому как университет явно не заплатит им как в Гарварде, и даже как в плохоньком колледже какой-нибудь Айовы или же Канзаса не заплатит. Но Андрей Всеволодович Казаков, профессор кафедры философии, любил такие поездки. Ему нравилось путешествовать, знакомиться с городами, осматривать достопримечательности. Разве сам когда-нибудь выберешься, например, в Ульяновск или, скажем, в Воронеж, а тут такой повод. И воздух сменить в легких, отдохнуть от ритмов всегдашней своей трудовой, да и семейной жизни. И дорога ему нравилась: поезд, перестук колес, сколько-то лирики в этом и почему-то легкой жалости к самому себе. К тому же бывают интересные попутчики. Андрею Всеволодовичу нравилось доброжелательное (с презумпцией доброжелательности) и ни к чему не обязывающее общение. Поэтому, приличия ради, поворчав немного, он согласился прочесть курс немецкой классической философии (пусть и не его специализация) в филиале замечательного города N.

На перроне его встречает блондинка в норковой шубе. Мария Александровна Шведунова, замдиректора по воспитательной. Энергичное рукопожатие, улыбка уверенной в собственном обаянии, привыкшей дозировать это свое обаяние женщины. Лицо «печеное яблоко», ей где-то около пятидесяти, но выглядит лучше, и не только потому, что «яблоко» еще не слишком-то запеклось.

– Рады приветствовать вас, Андрей Всеволодович, на нашей N-ской земле, – ему полагалось такое ее, служебное, обаяние.

– Земля, как я понимаю, без ложной скромности встречает меня всем тем замечательным и очаровательным, что у нее есть? – это такой стык комплимента и иронии у него. Ее реакцию он не понял. В любом случае, женщинам обычно нравится его

снисходительный тон, тем более что у него получается настолько по-доброму. Андрей Всеволодович уверен, теперь она несколько увеличит дозу своего обаяния и сделает его не только лишь служебным.

В командировках такого рода как-то само собой получалось, что Андрей Всеволодович начинал играть такого вот столичного профессора: вальяжного, даже несколько барственного, скептического, острого на язык при всем добродушии, чуть-чуть неотмирного, книжного, может, отчасти киношного (или нет уже таких профессоров в фильмах?), иронизирующего над своими регалиями (потому как достоин большего!). Играет себя такого, каким он, в общем-то, и был, только без всегдашних своих рефлексий, комплексов и неврозов.

И внешность его как раз для такой роли: хороший рост, профессорская борода (как он сам говорит, слишком профессорская), профессорский животик, благородная (во всяком случае, он надеется!) седина.

У вокзала их ждал огромный джип. Наверняка попросили кого-нибудь из студентов. Выбрали с самым представительским автомобилем. Ну так и есть.

У входа в учебный корпус его встречает директор и еще два зама: по учебной работе и по науке. Сейчас поприветствуют его «на нашей N-ской земле». Опять угадал. Только зам по науке добавил «на нашей древней и славной N-ской земле».

Андрея Всеволодовича представили коллективу. Точнее, коллектив представляют ему – все стояли в ряд, а он этот ряд обходил, пожимал руки. Запомнилось только: профессор Очумелов и доцент Околесин. Последний зачем-то вручил ему свою визитку.

Мария Александровна без шапки оказалось очень похожей на Тому, первую любовь Андрея Всеволодовича. Он это заметил сразу же, на вокзале, но подумал, что показалось, а теперь сходство стало уже явным. Только Томе тогда было двадцать. «Надо же!» – мысленно улыбнулся Андрей Всеволодович и опять же мысленно пожал плечами.

Со словами «Мария Александровна наша будет заниматься вами вплотную» директор откланялся. Слава богу, конечно. Потому как годом ранее Андрей Всеволодович приехал в один такой филиал, так тамошний директор в надежде, что Андрей Всеволодович поможет ему с докторской, окружил его настолько назойливым вниманием, явно хотел, чтобы он чувствовал себя обязанным.

Представляя его студентам, Мария Александровна торжественно, тоном конференсье в консерватории перечисляла все его титулы и почетные звания. Видимо, заплатив университету за него такую сумму, филиал хотел получить здесь по максимуму, может, это будет одним из аргументов в пользу повышения платы за обучение в следующем семестре, кто их знает.

– Почетный профессор... член международного общества... консультант, – продолжает перечислять Мария Александровна. Не хватало только, чтобы она назвала его «иностранным консультантом», тогда бы он был уже Воландом.

– И прочее, прочее, прочее, – улыбнулся, перебил ее Андрей Всеволодович.

Мария Александровна осталась на лекции. Что ж, он не против.

– Итак, дорогие друзья, – говорит он студентам, – как вы уже поняли, отчество у меня такое же, как у Ставрогина, но я не столь демоничный и довольно-таки добрый.

По реакции аудитории на эту его дежурную шутку, то есть по отсутствию таковой, он понял, что фамилия Ставрогин не вызывает никаких ассоциаций, не говорит им ничего вообще. Но он привык работать и с неподготовленной, с не обремененной избыточным образованием аудиторией. Время такое, что он привык ко всему что можно, и ко всему, к чему привыкать вообще-то не следует. Он может читать глубоко, а может и популярно. Когда популярно, можно поупражняться в артистизме, в каламбурах и парадоксах, тут бывают свои маленькие открытия, почему бы и нет! Мария Александровна слушала его восхищенно. Он понял, она будет сидеть на всех его лекциях. А студенты не то чтобы прониклись, не то чтобы понимали, о чем он сейчас, но поддались его обаянию, и он

чувствует уже те их «флюиды», что позволяют ему войти в столь ценный для него преподавательский раж ли, драйв.

После трех пар (он будет читать по три пары, тогда за неделю закончит весь курс) Мария Александровна повела его, уже уставшего и выжатого, обедать. Он не дал ей платить за него, несмотря на все ее уверения, что все оплачивает филиал. «Наш замечательный ректор и так уже ободрал ваше богоугодное заведение, – сказал Андрей Всеволодович, – и я не горю желанием стать его подельником». Она была удивлена, что он так вот о ректоре. Андрей Всеволодович только не понял, посчитала ли она его раскованным и свободным или же решила, что о ректоре так нельзя, даже если этот профессор по существу и прав.

После обеда она намеревалась показать ему город, но он уже не в состоянии, к тому же он с поезда все-таки. Попросился в гостиницу. Благо кафе, учебный корпус, отель – всё здесь рядышком, в полушаге.

Осмотр достопримечательностей начался на следующий день. Она вещала тоном экскурсовода, отточенными, затверженными фразами. Он радостно кивал, где положено – удивлялся, где предполагалось восхищение – восхищался. Чувство такта, продолженное до монотонного такого конформизма. А так что – тяжеловесное, приземистое, претендующее на некий смысл прошлое, безвкусное, самодовольное настоящее, особенно там, где оно заявляет своей архитектурой права на роскошь и величественность. И при чем здесь классическая философия? И прошлое, и настоящее, казалось, сами понимают, что ни при чем.

Она водила его по музеям и выставкам, и мысль одна – даже те картины, скульптуры и инсталляции, в которых угадывался, присутствовал талант, стоили ли они того нескладного, с ущемленным самолюбием, полунищего, с огромным количеством вина и водки бытия, которое выбрали себе их создатели, как ныне живущие, так и те, что давно уже лежат на местном кладбище? Кстати, это он и о себе, пусть его жизнь вполне удалась.

Зима выдалась не столько даже холодной, как сырой и ветреной, и им то и дело приходилось заходить погреться в кафе ли, кофейни. Он много говорил, много импровизировал, был изобретателен и парадоксален. На него так действует, что Марина Александровна, то есть теперь она для него уже Машенька, похожа на его Тома? Только Тома уже целую жизнь как не его, да? И к тому же, то есть *прежде всего*, ну похожа и похожа, что с того?! Другой же человек. Только Тома в своем нынешнем возрасте (они ровесницы с Машей), скорее всего, что выглядит так же.

Мария Александровна была тронута его вниманием, потому что оно неподдельное. Мало ли кто за эти годы приезжал к ним в филиал. Красовались перед ней, производили впечатление. Просто так, потому что нужно красоваться и удивлять, а если еще и удастся – залезть к ней постель. И удивляли, и поражали воображение, и было чем удивлять, а кое-кто и действительно залез, но интереса к ней, именно к ней, так и не было.

Она говорит о том, что давно уже как одна, а сын вырос, уехал в Москву, живет своей жизнью. Филиал... а что филиал? Все понимают, ему осталось недолго, а найти работу здесь, на «славной и древней земле», нереально, да к тому же она за все эти годы так привыкла быть начальством. Она вжилась, вросла в филиал, и вот теперь... Он видит, конечно, из какого теста она слеплена, из какой ткани сшита. И всю ограниченность, все предрассудки этой ее среды видит. Попробуй их тронь – не поймет. Тома посложнее была, конечно. И вдруг – а что если и Тома сейчас стала чем-то в этом же роде: сколько-то обабилась, сравнялась с «пейзажем», с той жизнью (она же учитель, теперь уже завуч в гимназии), над которой сама же когда-то смеялась? Это бабское ее начало, вот его-то он, тогдашний самонадеянный, глупый юнец, и испугался в Томе. Просто понял это уже потом, много позже. Маленькое такое, малюсенькое начало, но оно же разрастется, наполнится токами жизни – их общей жизни! Разбухнет от них. Испугался, что бабское возьмет верх, захочет ремонта, новой мебели, деторождения, так, по инстинкту, потому

что положено, ототрет Достоевского и Кьеркегора? Да и не в Кьеркегоре дело! Самодовольство и безраздельность правильной и в целом счастливой жизни?!

И такая же жалость к себе самой, как у этой пятидесятилетней Маши, была у тогдашней двадцатилетней Тома. Даже интонация жалости та же. Тома жалела себя, потому что ей тяжело с самой собой, тяжело далась ее юность и тревожило будущее. В том числе потому, что в нем, как она уже догадывалась, не будет его, Андрея. Маша жалеет себя по итогам обычной своей «среднестатистической» жизни, отсутствие будущего ее не слишком пугает, ей не нужно будущее, ей бы продлить настоящее, ей привычно и хорошо в настоящем, а оно скоро кончится. Он всегда высокомерно относился к страхам Тома перед будущим, к ее жалости к самой себе, к жалобам на жизнь, а жалобы Маши – он сейчас здесь с ней на равных. Понимая цену этим жалобам, да и самой Марии Александровны-Маши, он на равных. Искупленье грехов, да? – иронизирует Андрей Всеволодович. Он вдруг понял, что хочет ее. И хочет сильно. Тогда, при всем тестостероне юности, добиваться Тома было страшно. И понимал, что, «добившись», ему придется решать и решаться, и он не сможет уже отказать. А сейчас ни к чему не обязывает. Сейчас можно взять то, что он любил в Томе, что ему дорого в ней. Взять только лишь потому, что любит и ценит, без всех «сопутствующих и прилагающихся» обстоятельств. То есть сейчас это будет честнее и чище? Только ма-ленькая такая, малюсенькая деталь – это не Тома. Можно, конечно, себе объяснить, что сейчас Тома примерно такая же (он уже объяснил), но... Ладно, хватит. Пожалуй, на этом и хватит.

Он доволен своей жизнью и в принципе счастлив. А что касается остального... Лена, жена, считала, все в порядке у них. Страсти после двенадцати лет совместной жизни, как известно, затихают, а они продержались несколько даже дольше. Их связывает, он знает, что их связывает, и согласен, конечно, согласен – заботы, цели, долг, обязательства, дети и внуки, жизнь. Всего лишь жизнь. А сейчас захотелось чего-то, что меньше, много меньше и не имеет смысла, но ярче этой «всего лишь жизни»?

Он был честен с Леной, но не от того, что так уж любил честность. Понимает просто, что обман дался б ему тяжело, съел бы столько сил и нервов. (Супружеская верность как средство профилактики стресса?) К тому же ему в отношениях с Леной очень важно было быть морально правым. Кстати, он понимал, что ей гораздо легче было бы с ним, если он оказался бы вдруг неправ. Не говоря уже о том, если бы вдруг виноват. Но она, конечно же, хотела его «неправоты» и «вины» в мелочах. Только лишь в мелочах.

Лет десять назад на юбилее у ректора – тяжеловесное славословие, жирная лесть, чего уже стоило одно только присуждение юбиляру совместным решением Ученого совета и Совета попечителей высшего ордена университета (у заведения, оказывается, есть ордена!). Орден был с лентой, и ректор теперь похож на парадный портрет Екатерины II. Столы выглядели так, будто на них составили все натюрморты малых голландцев. Только у голландцев полнота жизни и радость бытия, а здесь морг, причем чванливый, самодовольный, с претензией на то, что в нем только и есть смысл, а всё остальное, всё *несъедобное*, так, вроде бумажных цветочков, украшающих все эти блюда с окороками... За столом он общался с Дарьей – с Дарьей Олеговной в смысле. Пресс-секретарь ректора. Увлеченно пересказывала ему свежие сплетни. Он не вникал. Дарья была эффектная. Застолье было долгое, и душно от съеденного и выпитого, от шума и смеха. Они с Дарьей вышли покурить (в то время Андрей Всеволодович еще курил). Перекур затянулся, стояли у окна (там была урна), болтали, потом пришли покурить другие, они с Дарьей решили вернуться в зал, но по пути она вспомнила, что ей надо зайти к себе в кабинет, взять какую-то папку. В кабинете она, если применить книжное и несколько выпренное слово, ему отдалась.

Он был разочарован. Она действительно эффектная, яркая, и у него никогда еще не было женщины выше его ростом. А все получилось так пресно. Ей неинтересно, несмотря на все его усилия, неинтересно, пусть она поначалу и попыталась что-то такое

изобразить... Она принялась говорить об университетских делах и склоках сразу же, как он кончил.

Папка, за которой они и зашли, не была предложением. Ей действительно нужна была эта папка. (Там фотки, которые она хотела показать Галине Ефимовне из бухгалтерии.) А если бы была не нужна – ничего бы у них и не было.

Андрей Всеволодович как человек, впервые вляпавшийся во «внеfamilную историю», мучительно думал, что же будет дальше. Но не было ничего вообще. Дарья не придавала значения и просто выкинула из головы. Наверное, это для нее просто секс «по ситуации».

В последний день было нечто вроде прощального ужина в кабинете директора. Профессор Очумелов шумно и долго ностальгировал по Союзу, у доцента Околесова был свой взгляд на основные проблемы современной геополитики, но в целом все получилось довольно душевно. Однако Андрею Всеволодовичу пора. Они с Марией Александровной идут в театр (ее с ними нет, потому что пошла за билетами), а потом ему уже надо будет на ночной поезд. Директор одобрил их выход в театр, у них замечательный драматический. Правда, уже немного не тот. Смена поколений, что поделаешь. А в свое время были мамонты, монстры сцены, были *имена!* Да и главрежи меняются слишком часто. Но сейчас появился новый, молодой, да ранний, из Москвы, рано, конечно, еще делать выводы, но он уверен, что Андрей Всеволодович в любом случае получит удовольствие.

Ни в какой театр они, конечно же, не пошли. А уедет он утренним поездом. Посидели немного в кафе, почти что уже не разговаривали. И так все ясно. Андрей Всеволодович думает сейчас о том, что такой вот итог его жизни – Кьеркегор давно уже ничего не может дать ему, и он давно уже ничего не может добавить к Кьеркегору. А то небольшое, что вроде бы удалось... не удержал, заболтал, что ли... А Маша? Конечно же, это не любовь. При чем здесь вообще любовь? О чем это он?! Он понял вдруг, что это начало любви – ни сентиментальности, ни новой волны ностальгии по Томе, ни тоски по другому варианту судьбы и жизни – любви.

Андрей Всеволодович расплатился, и они пошли к нему.

Решили пойти в гостиницу другой дорогой, чтобы не мимо окон учебного корпуса. Он еще не был на этой улице.

– Маша, а что за табличка? – спросил просто так, механически. До мемориальных ли знаков ему сейчас.

– А это о том, что здесь будет поставлен памятник Сталину, – глянув на табличку. – Уже к лету. Конечно, немало плохого было у него, но было же и хорошее... и люди верили к тому же, это тоже надо учитывать. Ну да, раз это нужно народу... И его роль в войне и победе.

Вот и всё.

Повторял, прокручивал в мозгу до бесконечности: «Вот и всё. Вот и всё». Станный вкус этой фразы.

У развязки этой истории был еще и несколько комичный момент – в кафе, когда Мария Александровна вышла, Андрей Всеволодович принял ударную дозу виагры.